

1. Диди Датви. Секретики

Большая Медведица — Диди Датви — нынешним июлем угасала.

Она больше не поднималась со своей постели. Не выбиралась из дома во двор. Не умывалась ветром. Не дышала йодовым запахом с моря. Младшая невестка Нино, само собой, попала в сиделки; упорно каждое утро пыталась вывести старуху на воздух. Но Большая Медведица артачилась: «Чего я там не видела».

А не видела она ничего. Зрячая от рождения, прежде счастливая взаимной любовью, рождением сыновей. Не то теперь... счастье долгим не бывает. И ушло счастье с кончиной мужа — сердце у того оказалось мерцающим: то работает — тук-тук, тук-тук, то замирает... тук. И замерло вовсе. И надо было в себе отыскать что-то для другой жизни. Надо было справиться. И все про нее думали — справилась.

А под старость и вдовство напала та хворь, что сделала незрячей. Тьма наступила не сразу. Постепенно темнота расширялась, а полоска света отступала, делалась уже и уже, вскоре исчезла совсем. Врачи говорили, в город бы ей. Но все что-то мешало поехать в город. За три года Диди Датви привыкла к тьме.

Та болезнь не одну ее скосила. Рассказывали, в селе слегли еще трое: двое взрослых и ребёнок. Тогда и трехлетняя рыженькая Лизи слегла, но выкарабкалась. Симпатичная мордашка соседки Лизи, усыпанная веснушками, теперь еще получила щербины, что-то вроде оспинок. Медведица в свою слепоту унесла рыжую еще без отметин.

Нино молча сокрушалась, как нынче сдала Диди Датви, и позволяла себе слабинку лишь во время визита двух Константинов: доктора и священника. По селу быстро разносились новости: на велосипедных спицах почтальюна, на тележке молочницы, на комариных крылышках. Всякая новость привлекала внимание односельчан, причём мизерная или крупная наравне, тут дело в «свежести». И в дом, послуживший источником новостей, тут же начиналось паломничество. Вот и теперь из дома в дом переходило: Диди Датви слегла.

Когда заходил доктор Константин и осматривал больную, Нино пряталась за порог кухни, комкая рыдания в передник. Потом выслушивала вердикт. И не утешалась до прихода священника Константина. Священник был терпелив

и смиренен. Даже если Диди Датви вырывала свою руку из его лапищ, он осторожно продолжал говорить с больной о другом мире. Диди Датви отвечала: «Чего я там не видела». Священник кротко произносил: «Воскрес Христос, и радуются ангелы; воскрес Христос, и водворяется жизнь; воскрес Христос, и мертвого ни одного нет во гробе». И Большая Медведица затихала, то ли дремала, то ли при-творялась. С нее станется.

Нино знала, что еще в начале лета Диди Датви сильно расстроили две новости. Снова не обещались вернуться сыновья из далекой Твери, три года как укатившие на заработки. Да и другое известие не радостнее: Лизи увозят родители. Увозят совсем далеко, дальше далекой Твери: в праздничный город Париж. И как теперь жить без крохотной ладошки, вкладывающей в твою усталую ладошь секретик?

— Угадай, что это?

Большая Медведица оглаживала, перебирала в руке теплую гальку. Камешки терлись боками, поскрипывали.

— Ты вернулась с моря?

— Утром ездили купаться. Это было так весело! Мои братья еще не умеют плавать. А я плаваю, как дельфин. Рассказать?

— Про кого?

— Про море.

— Чего я его не видела, что ли...

Другой раз девочка приносила орехи. Спелые, крупные. Она выдавала их за мелкие камешки. Но Диди Датви не проведешь.

— Они не пахнут тинной и дохлой рыбой. Этот грецкий из сада внизу тупика. А фундук ты откуда взяла? Здесь не растет такой крупный...

В другой раз Лизи приносила бобы, потом кукурузный початок, влажный вспотевший инжир, гроздь винограда, гранат, мандарин или тугую неспелую хурму. Шло время, и Большая Медведица следила за его круговоротом по секретикам Лизи: вот осень созрела, а вот и зима остудила округу.

Село их испокон веков мирное, оказавшись на передвинутой границе двух государств вдруг потеряло покой. Выходит, жители сел, оставаясь в своих домах, как бы отходили на новые места, прикочевывали к границе. Получается, будто оседлые стали кочевниками.

Семья Лизи вроде и из местных, а вроде и из приезжих, как на то посмотреть. Все знали, мать ее — художница из непогожего Питера. А Лизи знала, что маму папа украл. И такой шаг не по душе ни его родне, ни ей. За пять лет у Лизи трижды менялись дома. И на шестом году родители ещё с двумя малышами-погодками оставались в пограничном селе в примаках. Хотя до родного дома рукой подать, но туда послушникам не войти. Вот и живут в приживалах у чужих людей.

Не близко от моря. И горы только на горизонте. Зато совсем рядом виноградные плато, кукурузное поле, речка в каменистом русле, самшитовый забор, колодезь с родовым эхо. Их домик по сравнению с домишкой Диди Датви казался молодым и не уставшим; дряхлая сахли старухи доживала свой век.

— Почему тебя зовут Медведицей?

— Был случай. Я защищала своих сыновей.

— Значит, ты не родилась маленьким медвежонком?

— Я была такой как ты.

— У тебя есть карточка?

— Наверху. Но я много лет не хожу туда.

— Так давай сходим!

— Что я там не видела...

Нижней частью дом Диди Датви как бы намертво врос в землю, был темен и тесен. Верхней — с застекленной по кругу верандой — просторен, светел, но пуст и безжизненен. Теперь Диди Датви ловила едва слышный шаг со второго. Вот ножки протопали в зал, вот — в комнату над садом, вот простучали ботинками в спальню. Здесь задержались и бегом обратно на веранду. Нино с трудом открыла поржавевший замок. Сама и шагу не сделала внутрь. Никто годами не взбирался лестницею наверх, там стало пыльно и мертво. В зале на полках румынской полированной стенки выцветали фотографии. В комнате над садом чехол швейной машинки прикипел к основанию, попробуй кто открыть — надорвался бы. Иконы по углам молчали. Спальня затихла с тех пор, как схоронили главу дома. Больше ни один день Диди Датви не ночевала здесь. Не спала на двуспальной кровати, не гляделась в трельяж, не открывала шифоньер. Теперь шкаф разохся, амальгама зеркала потускнела и зацвела, не застеленная кровать с четырьмя резными шишечками по углам походила на музейный экспонат — ложе Генриха какого-то.

В отличие от верха, низ жил каждодневной кутерьмой и еженощной передышкой. В кухне звенела посуда, пекся хлеб. В зале, единственной комнате низа, где происходили все будничные и праздничные события, на столешнице старинного буфета, инкрустированной шахматною доской, разыгрывалась долгая партия. Доктор Константин передвигал белую фигуру на выходе, священник Константин делал ход черными по окончанию визита. Лизи предпочитала сидеть за круглым столом посреди зала, в двух шагах от кресла-берлоги и болтать с Диди Датви.

Иногда Лизи хитрила, Диди Датви попадалась.

— Что ты даешь мне пустую ладонь?

— Она мокрая?

— Мокрая.

— Значит, не пустая. В ней дождь. Идем я покажу тебе его.

— Я не глухая, такой ливень не услышать!

— Нет. Ты должна его увидеть.

Нино замирала с миской мамалыги в руках, глядя на то, как рыжая пигалица поднимает рыхлую слепую старуху смотреть на струи дождевой воды. Большая Медведица в хлопковом синем сарафане довольно быстро передвигалась по дому. Ее руки хорошо знали дорогу: спинка кровати, столешница с гобеленовой скатертью, дверной косяк с ключом на гвоздике и шнурком-кисточкой вдоль — дёрни, зажжешь лампу под абажуром с бахромой. А маленький проводник зорко следил за передвижением старухи. Та, в разношенных шлепанцах, вставала на порожке, до которого едва не добежали ручки. Никто не закрывал дверей и окон, все равно отвесные потоки не попадали в них. Ливень заливал фруктовый сад на взгорке и орешник в низине, сарайчик с прогнившей крышей, брошенную летнюю кухню. Ливень переполнял давно не чищенный колодезь с богатой родословной эха. Ливень гнул к земле дряхлую хурму и подгнивающий инжир у входа в дом. И все же мощные его струи несли облегчение, обновление, чистоту.

— Видишь, видишь?

— Вижу. У меня белая пелена вместо тьмы. Теперь на два часа зарядил, не меньше.

Когда мать привела Лизи прощаться, старуха как-то странно заплакала, гортанно, низким голосом, будто подавилась сухим творогом и закашлялась. Ее собственные внуки давно выросли и учились один в Тбилиси, другой в Сухуми, третий в Твери. А пигалица обладала тем, чего давно лишилась сама Диди Датви. И теперь у Медведицы неожиданно обидно, с ужасающей беспощадностью, отбирали девочку. Но если открыться им, попросить, её чувства примут за выверты старости, обвинят в блажи, мол, вцепилась в свежую кровь.

Лизи казалась растерянной и смущенной. Она вложила в ладонь старухи монету.

— Деньги? На что они мне?

— Так...

На том и расстались.

И теперь Нино ежедневно комкала рыдания в фартук: Большая Медведица нынешним июлем больше не поднималась. Сильно сдала, угасала...

2. Лизи. Соборная площадь

Дорога до места почему-то совсем не запомнилась Лизи. Она слилась в несколько снов и просыпаний, рев малышей-братьев, беготню с сумками, крики матери: «Лизавета, не отставай!» Лизи запомнились аэропорты, переливчатые мелодии и женский голос по громкоговорящей связи — откуда-то с неба. Потом

такси, очередь вдоль серой стены, мама, кормящая младшего в комнате матери и ребенка, папа, Гулливером вышагивающий по коридору. Потом девочка видела, как родителям сажей намазали ладошки, усадили за стол и с ними разговаривали сначала тетя, потом дядя в форме. Вокруг она чаще других незнакомых слов слышала слово — апатрид. Ожидающие у серой стены переговаривались, куда направят: в лагерь в Кале или в Лиль, поселят в контейнеры или палатки. А из лагеря не выйти, не выехать. Потом звучало слово Монтпельер, Монтпельер. Но семью Лизи оставили в Париже.

Чайник со звонком и чудо-печка, гревшая еду, недолго радовали. К удобству быстро привыкаешь, гораздо дольше мучает недостающее. Мама и папа весело обустроивались, казались неунывающими, почти счастливыми в своем доме. Братья друг за другом топали по двум тесным комнатушкам, одна из которых считалась спальней, другая столовой-кухней. А Лизи все больше сидела на подоконнике. Отсюда, с четвертого этажа, виднелся козырек над крыльцом подъезда, два дерева с разлапистыми листьями, перекресток и часть площади с собором.

Под каштанами возле площади Сакре-Кёр мама рисовала быстрые портреты туристов. И когда удавалось уговорить прохожего усесться на низенький стульчик, Лизи в сторонку откатывала коляску с братьями: маму нельзя отвлекать. На площадь слетались голуби и, едва успокоившись на брусчатке, вновь вспархивали в воздух, трепетали, курлыкали, о, Жатте, Жатте, и кружились в танце. Мама говорила, что птицы танцуют фарандолу. Но Лизи такого танца не знала. Собор важничал, выставлялся самым главным тут на площади, следил через витражи за растерявшейся рыжей пигалицей, птичьими стаями, прохожими, художниками и музыкантами. Лизи вспоминала узкую полутемную церквушку в селе. Но боялась нависающего светлого собора.

После рисунка мать вела детей кормить голубиные стаи и слушать уличных музыкантов. Музыканты на площади день за днем выступали одни и те же. Скоро Лизи запомнила девушку, такую же рыжую, как она сама. Девушка казалась очень смешливой, подмигивала Лизи, гудела в кулачок, изображая трубу, а потом пела, озорно переглядываясь то с одним своим гитаристом, то с другим. Ей строили смешные рожицы в ответ. И публика улыбалась. Изабель тоже заметила рыжую Лизи. Большая черная шляпа на земле быстро наполнялась монетами, а иногда и бумажными деньгами. И Лизи хотела положить в шляпу денежку. Но мама так строго сказала: «Лизавета», что больше спрашивать не пришлось. Зато теперь ей разрешили сразу после рисунка, минуя любимое братьями кормление голубей, бежать к музыкантам. Девочке очень нравились французские песни, и ежедневные встречи с весёлой Изабель примиряли с чужим городом, домом-клеткой, городской жизнью. Но где ее поля, где гора на горизонте, где пенистое море, где колодезь с эхо, где самшитовый забор, где сахли Большой Медведицы? Их больше не увидеть? Так хотелось на весь день убежать на виноградник. Но мир теперь был очерчен границами — только окрестности Сакре-Кёр.



— Мама, мама, вот бы собор показать Большой Медведице!

Мама морщилась как от зубной боли.

С приходом осени и отец, и мать стали надолго замолкать и прятать глаза друг от друга и детей. Матери посоветовали больше не рисовать на площади. Отец устал от ожидания решения в их голубятне и так же, как Лизи, помнил о вечнозеленой жизни у себя дома: сентябрь, счастье виноградарей. Препными весельчаками оставались только малыши. Казалось, мальчишки скоро бегло заговорят на чужом языке. В сентябре с площади вдруг пропала рыжая Изабель с гитаристами. Их место тут же занял парень с электропиано.

Зарядили мелкие скучные дожди. Лизи теперь все чаще оставалась сидеть у окна. Голуби на подоконнике курлыкали свое: О, Жатте, Жатте... Папа всё обещал рассказать про голубиную почту. Лизи уже давно писала письмо Диди Датви.

3. Партия. Монета

Партия завершилась так: доктор приходил все реже, священник — все чаще. Нино дала телеграмму в Тверь.

Большая Медведица кряхтела, вздыхала, иногда вычитывала по мелочам снохе, но больше молчала, отвернувшись к стене. Смотрела куда-то вверх плюшевого ковра с рогатым оленем. Там прежде, в зрячие времена, висел портрет родителей: мамы с черными косами поверх подвенечного платья и отца в кафтане с газырями. Оба молоды и схожи сросшимися у переносицы бровями. Портрет, конечно, там и оставался. Чья бы рука поднялась передвинуть что-то в доме Диди Датви?

Иной раз устает в окно, долго смотрит. Спросит вдруг: «Голубь?» Нино выгляет: нет никого. Старуха опять к оленю отвернется. Постепенно дом наполнялся чужими шагами. Чаще прежнего забегали соседки. Однажды Медведица уловила в шепоте на кухне новости о семье Лизи: счастливы, в самом Париже живут, легкой и красивой жизнью. Вот так, без подробностей — легкой и красивой жизнью. В скорости приехали два старших внука из Сухуми и Тбилиси. Диди Датви обрадовалась, послушала их голоса, подержала их руки в своих, искала в ладонях — пусто. И снова обратилась к портрету.

Священник совестил: «Одиночество не исцеляет». Медведица не отвечала, но то был не протест, не отказ от жизни, а ее осмысление. Надада будней ушла из рук, а сама жизнь теперь стала проживанием отлетевших событий заново и воспоминаний о них. Дни наступали. Она смотрела кино о себе. Но разве кому положено прежде времени мерить длину своей жизни?

В молчании больная различала все больше шагов. Вот пришла золовка, вот — средняя сноха, ненадолго заглянул брат — сам старик, редко выбирается из дому. Вот проплыла крейсером толстуха Аша, шарканья ее растоптанных бахил ни

с чем не спутаешь. Стул нещадно заскрипел под толстухой. А какой тоненькой в девушках ходила! Вот смущенно пробрались Смородиновы, муж и жена, приезжие из Питера — родины мамы Лизи. Поначалу соседи смеялись над привычкой чуть ли не единственных русских в селе — всюду ходить вместе, потом даже завидовать стали. Пожилые Смородиновы, купившие в селе свой «последний» дом, не имели поводов разлучаться. Вот пришла Мактина, когда-то считавшаяся соперницей Диди Датви, скинула туфли на каблуках, от порога прошлепала босиком. А все равно ее упругий воинственный шаг сразу разберешь. Сейчас станет и тут устанавливать свои порядки. Но и это уже не важно. Все прежние страсти теперь словно выцвели, полиняли, усохли. Узнавать по шагам казалось проще, потому что, заходя в дом, все говорили голосами на два тона ниже, шипели, свистели — будто осипли, приглушенно перешептывались — будто в доме покойник. Такое почтение даже забавляло Большую Медведицу.

Ночами из сада тянуло увяданием, землицей, и запах палой листвы уже перебивал запах моря. Но вечера еще стояли душные, окон не затворяли и на ночь. Вот и Дарико наконец пожаловала под вечер. Старинная подруга: никто больше не бил, никто скорее не утешал. Диди Датви даже на двух свадьбах у той побывала. Второй брак — с абхазцем — у грузинки Дарико вышел прочнее и плодovitее первого. Теперь у Дарико уже семь внуков, и она частенько с упоением повторяет своей подруге: «Тебе меня не догнать». Это с острого языка Дарико прилепилось к подруге прозвище Большая Медведица. И мало кто в селе, кроме ближайшей родни, помнил её имя от рождения — Марина.

Когда муж Марины еще не знал о своем мерцающем сердце, то увлекся охотой по перу: приносил домой подстреленных кекликов и вальдшнепов. Иногда для охоты брал займы у соседа самку ястреба. Ястребиха однажды и налетела на мальчиков. И пока охотник растерянно наблюдал за взбесившейся птицей, Марина ковровой выбивалкой отогнала обидчицу от кричащих малышей, поранилась.

С чем же пожаловала Дарико? Эээ... что-то стихла подруга, винится. Рано тебе, Дарико, исповедоваться. Стоит Диди Датви припомнить про самую вкусную в округе акурму, как мироносица Дарико взовьется, оспаривая первенство. И куда денутся смирение и кротость?

А Дарико, конечно, не оправдывала оппозицию Диди Датви и прежде не подерживала ее странную дружбу с соседской девчонкой. Что за близость между старухой и дитя? Кто лучше Дарико понимал Большую Медведицу? Нет таких. С каждым сомнением Марина шла к Дарико, с каждой болью, с каждой обидой на мужа. А как упоительно давать советы другим и сострадать чужой неурядице! И вдруг вместе с навалившейся слепотой возник раскол между подругами. Ширилась полоса отчуждения между ними, отодвигая все дальше: вот только в обнимку были, а вот уже и вытянутой рукой не достать. И Дарико закусил губу: ей нашли нелепую замену. Едва она собиралась в дом Медведицы с новостя-

ми, ее вприпрыжку опережали красной кожи сандалики. Дарико сквозь открытые окна слышала, как весело тем двоим. И разворачивалась восвояси. Так было до отъезда Лизи. И после отъезда девочки Дарико снова не шла к подруге. Ждала, когда та позовет. Паузу держала.

Но теперь с особой новостью Дарико сама заявила в дом Диди Датви. С такой новостью, от которой сердце Большой Медведицы ойкнуло.

В доме бабушки Лизи еще ночью все пришло в движение. Домочадцы взбудоражены ночным приездом. Непримируемая прежде бабушка смилостивилась и приняла беглецов — по внукам смертно скучала. И все были бы счастливы возвращением, но в дороге Лизи заболела. Теперь распласталась в жаре и лихорадке. Когда доктор Константин определил ангину у ребенка, выписал рецепты, Дарико как раз привела в дом Большую Медведицу.

Диди Датви шарила поверх одеяла, искала руку девочки.

— Монета? Ты догадалась?

— Будто в море бросила, чтобы вернуться...

— Я привезла тебе секрет. Мама!

Мать развернула газетный сверток и что-то из него вложила в руку дочки. Тут же снова встретились руки Диди Датви и Лизи. Мать с тревогой отошла в сторону.

— Ну, угадай!

— Он легкий. Не ровный. Будто пустой...

— Угадай, угадай...

— Это не грецкий орех и не фундук...

— Ни за что не отгадаешь! Я привезла тебе кугурдон. Ты ела каштаны?

— Тебе нельзя говорить. Ложись.

— Ты была в Париже?

Диди Датви в темно-зеленом платье с атласным отложным воротничком, свежая, светлая и праздничная восседала на стуле возле кровати Лизи.

— Чего я там не видела?!